



Ю. П. АННЕНКОВ

Дневник моих встреч

<Фрагменты>

В середине января 1923 года, в Петербурге, зашел ко мне на Кирочную улицу Корней Чуковский¹ и сообщил, что из Москвы приехал Вячеслав Полонский² с «важными заказами» для питерских художников и что он хочет со мной познакомиться. Полонский состоял тогда председателем Высшего военного редакционного совета (ВВРС). Мы уговорились встретиться в тот же вечер у Чуковского, где я и познакомился с Полонским.

Речь шла об устройстве художественной выставки, посвященной пятилетию Красной армии. Выставка эта должна была положить начало художественному отделу Музея Красной армии. Полонский был уполномочен дать соответствующие заказы ряду художников. Что касалось, в частности, меня, то Полонский, рассказав о своем интересе к моим портретным работам, предложил мне исполнить портреты главнейших руководителей Реввоенсовета, и в первую очередь Троцкого.

Мы тут же заключили договор, и через несколько дней я приехал в Москву. Там в полдень (я только что успел привести себя в порядок с дороги) ко мне явился молодой адъютант председателя Реввоенсовета с предложением сейчас же отправиться к Троцкому, который немедленно меня примет. В здании Реввоенсовета, на Знаменке, поднявшись на второй этаж и пройдя по ряду коридоров с расставленными у дверей молодцеватыми подтянутыми часовыми, проверявшими пропуск с неумолимым, бесстрастным видом, я очутился в приемной Троцкого. Огромный высокий зал был наполнен полумраком и тишиной. Тяжелые шторы скрывали морозный свет зимнего дня. На стенах висели карты Советского

Союза и его отдельных областей, испещренных красными линиями. За столом, у стены, сидели четверо военных. Зеленый стеклянный абажур, склоненный над столом, распространял по комнате сумеречный уют и деловитость.

Как только я вошел в комнату, все четверо мгновенно встали и один из них, красивый и щеголеватый дежурный адъютант, поспешно подошел ко мне по малиновому ковру.

— Художник Анненков? — спросил он.

— Да, — ответил я, едва удержавшись, чтобы не сказать «так точно».

— Лев Давидович вас сейчас примет.

Щеголеватый адъютант снял телефонную трубку и через несколько секунд снова обратился ко мне:

— Можете пройти в кабинет.

Он проводил меня до двери и, слегка приоткрыв ее, вполголоса добавил:

— Налево, к окну.

Я вспомнил — у Толстого: «Затем князь Андрей был подведен к двери, и дежурный шепотом сказал: направо, к окну...»

Проходя в кабинет, я слышал, как за моей спиной военные снова садились в кресла.

По рассказам, чаще всего злобным и язвительным, Троцкий был щупленький человек маленького роста («меньшевик», — острили про него). С меньшевиками Троцкий был в своей молодости действительно близок, но к его внешнему облику это не имело никакого отношения: он был хорошего роста, коренаст, плечист и прекрасно сложен. Его глаза сквозь стекла пенсне блестели энергией. Он встретил меня весьма любезно, почти дружественно, и сразу же сказал:

— Я хорошо знаю вас как художника. Я знаю, что до войны вы работали в Париже. Я знаю ваши иллюстрации к «Двенадцати» Блока, и у меня есть книга о ваших портретах. Я знаю также о вашем участии в массовых зрелищах³. Надеюсь, что вы тоже слышали кое-что обо мне, и, значит, мы — давние знакомые. Присядем.

Мы сели. Троцкий заговорил об искусстве. Но не о русских художниках. Он говорил о «парижской школе» и о французской живописи вообще. Он упоминал имена Матисса, Дерена, Пикассо, но постепенно углублялся в историю. Особенно интересными были для меня довольно колкие замечания Троцкого о том, что французская революция никак не отразилась в искусстве.

— Разве в давидовском «Убийстве Марата», — говорил Троцкий, — есть что-нибудь от революции? Решительно ничего. Один анекдот: голый Марат в ванне. Разве знаменитая «Свобода, ведущая народ» Делакруа выражает сущность революции? Конечно, нет. Ребенок с двумя пистолетами, какой-то романтик в цилиндре, идущие по трупам, во главе с античной красавицей, обнажившей грудь и несущей трехцветный флаг? Романтический анекдот, несмотря на прекрасные живописные качества. Но в «Коронации Наполеона» тот же Давид сумел блестяще выразить всю торжественную бессмыслицу этого обряда... Портрет, пейзаж, мертвая натура, интерьер, любовь, быт, война, исторические события, веселье, грусть, трагедия, даже безумие (вспомним хотя бы «Сумасшедшую» Жерико) — все это получило свое выражение в живописи. Но революция и искусство — это единение еще не найдено.

Я возразил Троцкому, что революция в искусстве есть прежде всего революция его форм выражения.

— Вы правы, — ответил Троцкий, — но это революция местная, революция самого искусства, и притом очень замкнутая, недоступная широкому зрителю. Я же говорю об отражении общей, человеческой революции в так называемом «изобразительном» искусстве, которое существует тысячелетия. «Тайная Вечера» — есть, «Распятие» — есть, даже — «Страшный Суд» есть, да еще какой: микеланджеловский! А революция? Революции я не видел. Картины, пишущиеся сейчас советскими живописцами, стремящимися «отобразить» революционную стихию, революционный пафос — нищенски недостойны не только революции, но и самого искусства...

Побеседовав минут двадцать, я стал прощаться. Троцкий сообщил мне, что завтра он уезжает к себе в ставку, верстах в двадцати под Москвой, и что послезавтра будет там ждать меня для работы.

С этой первой встречи Троцкий превращается для меня из «исторического персонажа» в живого человека и — еще скромнее — в «лично знакомого».

Через день, в условленный час, за мной прислали из Реввоенсовета машину, и я отправился в ставку, забрав с собой все необходимое для рисования. Ставка помещалась в богатейшем национализированном имении князей Юсуповых — Архангельское. Стояла сверкающая зима, снег и иней блестели под ярким солнцем. Около ворот имения стояли часовые. Увидев знакомую машину, они вытянулись

во фронт и откозыряли, глядя на меня. Но еще в пути одна вещь меня удивила: по краям дороги, почти на всем расстоянии между Москвой и ставкой — заржавленные каркасы броневых машин и разбитых орудий, воспоминания о Гражданской войне, высывались из снежных сугробов. Прошло уже полных три года со времени боев (да и были ли они в этом Подмосковье?). Иностранные дипломаты и военные представители часто ездили в ставку к Троцкому. Какое впечатление мог произвести на них подобный пейзаж? Как-то, в одну из наших бесед, я выразил Троцкому мое удивление по поводу столь мрачного и так легко упразднимого обрамления дороги.

— Стратегическая маскировка, — ответил Троцкий, — пусть пока капиталистам кажется, что у нас — полный бедлам, что наша революция — не более чем временный местный кризис, вызванный военными неудачами, и что иностранным капиталистам беспокоиться нечего. Вот и все. Тактика, товарищ!

И, улыбнувшись, добавил:

— Однако в скором времени та же тактика потребует обратной маскировки. Когда станет ясным, что наш бедлам не прекращается, но географически расширяется, то нужно будет сделать так, чтобы капиталистическим странам стало страшно пойти против нас. И вот, принимая у себя представителей капиталистического мира, гниющего Запада, мы будем показывать им торжественные парады, силу нашей военной мощи и ее организованность, демонстрируя орудия и всяческие танки, купленные на том же гниющем Западе.

Такая «обратная маскировка» наступила уже при Сталине и распухает до сих пор с каждым днем до невероятных размеров. В обоих случаях «капиталисты» поверили, вследствие чего из года в год и продолжают терять свои позиции.

Я бывал в ставке раз пять, если не больше, и два раза там ночевал. В роскошно обставленных комнатах я любовался произведениями Тьеполо, Буше, Фрагонара и других мастеров той же эпохи. Встречался я с Троцким также и в помещении Реввоенсовета, где познакомился и подружился с его заместителем на посту председателя Реввоенсовета Эфраимом Склянским, с которого мне тоже пришлось написать портрет, воспроизведенный в Большой советской энциклопедии 1926 года, т. 2. В позднейших изданиях этой энциклопедии всякое упоминание обо мне было выброшено.

В ставке я сделал три карандашных рисунка с Троцкого, в натуральную величину (бюсты), печатные воспроизведения которых появились впоследствии почти во всех странах (иногда даже без указания моего имени).

В выпущенном Государственным издательством в 1926 году огромном (56 x 49 см) и прекрасно отпечатанном альбоме, озаглавленном «Юрий Анненков. Семнадцать портретов», Анатолий Луначарский (тогда — народный комиссар просвещения) писал в своем предисловии к этой книге: «Конструктивист возобладал в Анненкове над реалистом. Это словно не портрет Троцкого, а рисунок, сделанный с какой-то очень талантливой гранитной статуи т. Троцкого. Нет, здесь уже нет ни капли ни доброты, ни юмора, здесь даже как будто мало человеческого. Перед нами чеканный, гранитный, металлически-угловатый образ, притом внутренне стиснутый настоящей судорогой воли. В профильном портрете, родственном известному монументальному анненковскому портрету т. Троцкого, к этому прибавилась еще гроза на челе. Здесь т. Троцкий угрожающ. Анненков придал т. Троцкому люциферовские черты. Я, конечно, оставляю целиком на ответственности художника такую характеристику т. Троцкого. Я ведь здесь не его характеризую, а стараюсь передать на словах трактовку его Анненковым. А у этого художника — огромный диапазон».

Альбом содержит два портрета Троцкого...

<...>

Возвращаюсь к Троцкому.

Наши беседы скользили с темы на тему, часто не имея никакой связи с событиями дня и с революцией. Троцкий был интеллигентом в подлинном смысле этого слова. Он интересовался и был всегда в курсе художественной и литературной жизни не только в России, но и в мировом масштабе. В этом отношении он являлся редким исключением среди «вождей революции». К нему приближались Радек, Раковский⁴, Красин и, в несколько меньшей мере, Луначарский (несмотря на то, что именно он занимал пост народного комиссара просвещения). Культурный уровень большинства советских властителей был невысок. Это были очень способные захватчики, одни с идеологическим уклоном, другие — как Сталин — с практической «неуклонностью». Несовместимость интеллигентов с захватчиками становилась ясной уже и первые годы революции. Объединение и совместные действия этих столь

разнородных элементов были только результатом случайного совпадения: рано или поздно они должны были оказаться противниками. И как всегда в такой борьбе, интеллигенции было предназначено потерпеть поражение. Если из междоусобной гражданской войны с прежним режимом Троцкий вышел победителем, то лишь потому, что это была война за идейную, идеологическую победу. Но когда наступила борьба за практическую демагогию, он, как интеллигент, неминуемо должен был проиграть.

Однажды, когда я заработался до довольно позднего часа, Троцкий предложил мне переночевать у него в ставке. Я согласился. Красноармеец постелил на удобном «барском» диване, в кабинете, чистую простыню, одеяло и положил подушку в наволочке с инициалами прежних хозяев имения. Почитав на сон газету, я загасил лампу и задремал, но сквозь дремоту вдруг расслышал неопределенный, затушеванный шумок. Я приоткрыл глаза и увидел, как Троцкий, с маленьким карманным фонариком в руке, войдя в кабинет, прокрадывался к письменному столу. Он старался не производить никакого шума, могущего меня разбудить. Но ходить на цыпочках, «на пальцах», как балетные танцоры, было для него непривычным, и он терял равновесие, покачивался, балансируя руками и с трудом делая шаг за шагом. Забрав со стола какие-то бумаги, Троцкий оглянулся на меня: мои глаза были едва приоткрыты, и я сохранял вид спящего. Троцкий с тем же трудом и старанием вышел на цыпочках из кабинета и бесшумно закрыл дверь.

Нужно было жить в обстановке тех лет в России, чтобы почувствовать всю неожиданность подобной деликатности со стороны вождя Красной армии и «перманентной» революции.

В дальнейшем я часто встречался с Троцким в здании Реввоенсовета и... в национализированном доме Льва Толстого, в Хамовническом переулке, где подготовлялся музей писателя. В этом доме мне была отведена обширная комната, в которой я должен был исполнять монументальный портрет Троцкого (около четырех аршин в высоту и трех — в ширину) и куда по этому случаю доставили огромный мольберт. Тогда же мне была выдана, за подписью Склянского, специальная карточка, разрешавшая завтракать и обедать в столовой Реввоенсовета. Никаких «Яров» и прочих ресторанов, с балалаечниками и цыганскими хорами, в Москве уже не было: они поспешно перебрались в Париж.

Как-то в коридоре Реввоенсовета посыльный, мальчик лет пятнадцати, одетый в красноармейскую форму, увидел Троцкого, встал во фронт и, лихо щелкнув каблуками, отдал честь. Улыбнувшись, Троцкий произнес:

— Здорово, мальчуган! Но ты должен знать, что честь отдают только тогда, когда на голове фуражка: это даже называется «козырять», «откозырять». А если голова, как сейчас у тебя, голая, то следует только становиться во фронт, руки по швам.

— Слушаюсь, товарищ Троцкий! — ответил мальчик, снова щелкнув каблуками и снова машинально козырнув.

Испугавшись своей оплошности, мальчик воскликнул:

— Извиняюсь, товарищ Троцкий!

Троцкий засмеялся:

— Катись, катись! Ничего страшного!

— Так точно, товарищ Троцкий!

Руки мальчика на этот раз были по швам.

Я спросил у Троцкого, каким образом он ознакомился со всеми мелочами военных условностей? Он ответил мне довольно длинной тирадой, которую впоследствии я почти дословно прочитал в его книге «Моя жизнь», выпущенной уже за границей, в изгнании. Желая быть наиболее точным, я приведу здесь в качестве ответа выдержку из этой книги: «Был ли я подготовлен для военной работы? Разумеется, нет. Мне не довелось даже служить в свое время в царской армии. Ближе я подошел к вопросам милитаризма во время балканской войны, когда я несколько месяцев провел в Сербии, Болгарии и Румынии. Но это был все же общеполитический, а не чисто военный подход. Мировая война всех на свете приблизила к вопросам милитаризма, в том числе и меня. Но дело шло все же прежде всего о войне как продолжении политики и об армии как ее орудии. Организационные и технические проблемы милитаризма все еще отступали для меня на задний план...

В парламентских государствах во главе военного и морского министерства не раз становились адвокаты и журналисты, наблюдавшие, как и я, армию преимущественно из окна редакции, только более комфортабельной... Но... в капиталистических странах дело шло о поддержании существующей армии, то есть, в сущности, лишь о политическом прикрытии самодовлеющей системы милитаризма. У нас дело шло о том, чтобы смести начи-

сто остатки старой армии и на ее месте строить под огнем новую, схемы которой нельзя было пока еще найти ни в одной книге. Это достаточно объясняет, почему к военной работе я подходил с неуверенностью и согласился на нее только потому, что некому было нынче за нее взяться.

Я не считал себя ни в малейшей степени стратегом... Правда, в трех случаях — в войне с Деникиным, в защите Петрограда и в войне с Пилсудским я занимал самостоятельную стратегическую позицию и боролся за нее то против командования, то против большинства ЦК. Но в этих случаях стратегическая позиция моя определялась политическим и хозяйственным, а не чисто стратегическим углом зрения. Нужно, впрочем, сказать, что вопросы большой стратегии и не могут иначе разрешаться».

— Вот и все, — добавил Троцкий, — я формировал нашу армию, а армия формировала Троцкого. Таким образом я постепенно освоился со всякой чепухой военщины, до маршировки и даже до отдания чести включительно.

Но по существу, вся эта «чепуха военщины» была глубоко чужда Троцкому. Это происходило в эпоху, когда сорванные революцией погоны и эполеты считались символом свергнутого строя. <...>

Когда все мои эскизы к портрету Троцкого были закончены и я должен был приступить к холсту, уже стоявшему на мольберте в доме Толстого, Троцкий, разговаривая со мной в Реввоенсовете, сказал полушутя, полусерьезно:

— А как же мне нарядиться для портрета? Позировать в военной форме мне бы не хотелось. Могли бы вы набросать что-нибудь соответствующее для нашего портного?

Я набросал карандашом темную, непромокаемую шинель с большим карманом на середине груди и фуражку из черной кожи, снабженную защитными очками. Мужичьи сапоги, широкий черный кожаный кушак и перчатки, тоже из черной кожи, с обшлагами, прикрывавшими руки почти до локтей, дополняли этот костюм. Вспоминаю, как во время одной из примерок я сказал:

— В этом нет ничего военного.

Троцкий улыбнулся:

— Но в этом есть что-то трагическое.

— Не трагическое, — ответил я, тоже рассмеявшись, — но угрожающее.

В этой «одежде революции» Троцкий позировал мне для своего четырехаршинного портрета. В этом же костюме Троцкий был снят рядом со мной правительственным фотографом. Этот снимок у меня сохранился до сих пор и в свое время (1923) оказал мне однажды неожиданную услугу. Я жил в Москве на Пречистенке (в здании Академии художественных наук), в первом этаже. Вход в квартиру был со двора, ворота которого наглухо закрывались на ночь, и у жильцов дома был ключ, которым открывалась калитка. Как-то ночью, возвращаясь домой, я обнаружил, что забыл ключ в квартире. Звонок, само собой разумеется, не действовал. Я подошел к окну моей комнаты и нажал на его раму. Окно распахнулось: по счастью, оно не было заперто на задвижку. Обрадованный, я начал карабкаться на подоконник, чтобы перелезть в мою комнату, но чья-то рука схватила меня за плечо. Передо мной стояли два милиционера, которые потребовали у меня объяснений. Но рассказ о забытом ключе их не убедил.

— По ночам через окна порядочные не лазают! Предъявить документы!

Голос милиционера был неумолим. Ни «личной карточки», ни иных документов у меня с собой не оказалось, но в бумажнике нашлась моя фотография с Троцким. Я показал ее милиционерам. Они сразу же узнали «любимого вождя», и, возвращая мне карточку, один из них сказал изменившимся голосом:

— Ладно, лезьте!

— Молчи! — прервал его другой милиционер и, повернувшись ко мне, произнес:

— Мы приносим вам, уважаемый товарищ, наши извинения. Вы видели, как советская милиция бдительна.

Подтолкнув меня на подоконник и откозыряв, они твердым шагом удалились в бесфонарную ночную тьму тогдашней Москвы.

Последняя примерка костюма Троцкого происходила в его ставке. Часов в одиннадцать утра портной уехал в Москву. Я остался завтракать у Троцкого и должен был уехать только около трех часов пополудни. Перед моим отъездом Троцкий оглядел меня с головы до ног и заявил:

— Что же касается вашего собственного костюма, то он мне не нравится; в особенности ваши легкие городские ботинки: они вызывают во мне страх при теперешнем тридцатиградусном морозе. Я вас обую по-моему.

И он повел меня в особую комнату, служившую складом, полными всевозможных гардеробных подробностей: шубы, лисьи дохи, барашковые шапки, меховые варежки и пр.

— Это все подарки и подношения, с которыми я не знаю, куда деваться, — пояснил Троцкий, — пожалуйста, не стесняйтесь!

И он выбрал для меня замечательную пару серовато-желтых валенок на тонкой кожаной подкладке и с неизносимыми кожаными подошвами. Валенки были мне несколько велики и подымались почти до самого верха бедер. Мне казалось, что я обулся в легендарные семиверстные сапоги. Внутри валенок было выбито золотыми буквами следующее посвящение: «Нашему любимому Вождю, товарищу Троцкому — рабочие Фетротреста в Уральске».

— Прекрасно! Теперь мы сквитались, и моя совесть очистилась! — улыбнулся Троцкий.

К барашковой тужурке, подаренной мне годом раньше К. Станиславским (см. гл. о Мейерхольде), прибавились теперь валенки Троцкого. Я сохранял их в моем шкафу как «исторические ценности» до самого отъезда за границу.

Писать портрет пришлось долго: двенадцать квадратных аршин. Весь верх картины, то есть лицо, я вынужден был писать, сидя на складной лестнице. Троцкий позировал, сидя в кресле, поставленном на столе. Он приходил очень точно в назначенный час, раза по три в неделю, и в моей мастерской переодевался в «одежду революции», хранившуюся здесь же, на вешалке.

В комнате висели два небольших фотографических портрета Толстого: один, вероятно, был ровесником Анны Карениной, другой был сделан лет за пять до трагической смерти Толстого. Когда приходил Троцкий, мы, конечно, говорили о Толстом. Преклонение Троцкого перед Толстым было нескрываемо. Троцкий рассказал мне, как в юности он находился под влиянием толстовского мироощущения и что «одна мужицкая рубаха графа Толстого стоит половины всего Тургенева».

Троцкий уходил, и я оставался наедине с портретом Толстого. Я не был ни суеверен, ни очень застенчив. Но портреты Толстого меня почему-то смущали. Я постоянно оглядывался на них и всякий раз ощущал, что я работаю не в мастерской художника, а в доме Толстого. И вдруг мне припомнилась фраза Толстого, обрисовавшая мастерскую князя Нехлюдова, бросившего службу

и решившего заняться живописью: «В мастерской стоял мольберт с перевернутой начатой картиной и развешены были этюды».

Я осторожно снял со стены портреты Толстого, бережно положил их в ящик стола и приколот на стену мои этюды к портрету Троцкого. И сразу почувствовал облегчение. Вечером, уходя, я отколол мои наброски и снова повесил фотографии Толстого на прежние места. Так поступал я потом ежедневно. Работа значительно облегчилась.

Во время сеансов мы много говорили о литературе, о поэзии (к которой Троцкий относился с большим вниманием) и об изобразительном искусстве. Могу засвидетельствовать, что среди художников тех лет главным любимцем Троцкого был Пикассо. Троцкий видел в формальной неустойчивости, в постоянных поисках новых форм этого художника воплощение «перманентной революции», той самой «перманентной», которая принесла Пикассо славу и богатство и которая стоила Троцкому жизни.

Однажды мы зашли в музей Щукина, находившийся в двух шагах от Реввоенсовета. Музей был национализирован, и самому Щукину, который открыл Пикассо, открыл Матисса, Щукину, создавшему в Москве бесценный музей новейшей европейской живописи, — этому щедрейшему Щукину была отведена в его доме находившаяся при кухне «комната для прислуги».

Троцкий задержался перед холстами Пикассо, и я сделал с него набросок на фоне «Арлекина» этого мастера.

Когда летом 1923 года портрет Троцкого был наконец закончен, Реввоенсовет организовал по этому случаю весьма торжественную однодневную его выставку для командиров Красной армии. Веселое, горлающее сборище крепкотелых молодцов, махорочных курильщиков, опьяненных недавними победами: будущие генералы и маршалы СССР. Среди присутствовавших были: Тухачевский (командующий 5-й армией и Западным фронтом, в будущем — расстрелянный Сталиным); Сокольников (командующий 8-й армией и Туркфронтом, расстрелянный Сталиным); Смилга (член Реввоенсовета 5-й армии, расстрелянный Сталиным); Уншлихт (член Реввоенсовета республики, расстрелянный Сталиным); Раскольников (командующий Балтийским и 276 Каспийским флотами. Покончил самоубийством в эмиграции, во Франции); Зоф (командующий морскими силами республики, расстрелянный Сталиным); Муралов (начальник Москов-

ского военного округа, расстрелянный Сталиным); Антонов-Овсеенко⁵ (начальник Политического управления Реввоенсовета республики, расстрелянный Сталиным) и другие, которых я забыл и которых, вероятно, ожидала та же участь. Дней через пять Тухачевский тоже позировал мне для карандашного портрета, находящегося у меня.

Ни Троцкого, ни его заместителя Склянского в этот день не было в Москве: их представлял Вячеслав Полонский. В гуще этих трагических героев я был сфотографирован на фоне портрета Троцкого. Впрочем, в этой же гуще находились Ворошилов и Буденный, которые сумели уцелеть.

<...>

В январе 1923 года Троцкий попросил меня сделать несколько иллюстраций к его «Приказу Революционного Военного Совета Республики к пятилетию Красной Армии» (5 февраля 1923 года). Но вечером того же дня Полонский, передавая мне текст «Приказа», сказал, что все рисунки должны быть сданы в типографию на другой же день утром. Я сделал их в одну бессонную ночь (что очень понравилось Склянскому, но что, несомненно, отразилось на качестве рисунков). «Приказ» вышел отдельным изданием, в красках, в пяти тысячах экземпляров. Вот несколько фраз из этого «Приказа», которые следовало бы запомнить всем политическим деятелям свободных стран и их «специалистам по советским вопросам», до сих пор еще верящим, что можно добиться «мирного сосуществования» с СССР путем каких-то международных конференций: «Мировая коммунистическая партия задачей своей имеет перестроить весь мир, независимо от нации, расы и цвета кожи. Советская Россия — крепость мировой революции. Красная Армия — щит угнетенных и меч восставших! Красная Армия нужна нынче мировой революции.

Молодые воины!.. Учитесь на прошлом, готовьтесь к будущему... Красноармейцы, командиры, комиссары! Склоним сегодня боевые знамена перед памятью погибших. Отдадим дань героическому прошлому — не для успокоения, а для удесятенной работы. Наш завтрашний день должен и будет славнее вчерашнего. Учитесь! Крепните! Мужайте! Готовьтесь!»

Под «Приказом» подписи:

Председатель Революционного Военного Совета Республики: Лев Троцкий
Заместитель Председателя Революционного Военного Совета Республики:
Э. Склянский

Главнокомандующий: С. Каменев

Член Революционного Военного Совета Республики: С. Данилов
Начальник Политического Управления Революционного Военного Совета
Республики: Антонов-Овсеенко
Начальник штаба РККА: П. Лебедев

В то время все эти будущие жертвы были еще живы и занимали указанные здесь посты.

У меня до сего дня хранится этот редчайший документ. Более чем редчайший. Через несколько месяцев, в 1924 году, в томе «Советская культура» (Изд. известий ЦИК СССР и ВЦИК, Москва), в статье Ив. Лазаревского «Искусство советской книги» говорилось: «Нельзя не указать на издание РВСР — Приказ РВСР от 5 февраля 1923 года, N 279, к пятилетию Красной армии, с рисунками Ю. Анненкова, едва ли не единственный в мире военный приказ, изданный при участии художника-графика».

<...>

В главе, посвященной Ленину, я уже говорил, что после взятия Зимнего дворца мне удалось пробраться в Смольный институт, где заседал Съезд Советов. Там, на трибуне, я впервые увидел Троцкого. Поверх довольно элегантного черного костюма на нем была надета распахнутая и сильно потасканная шинель дезертира. Троцкий говорил о победе:

— От имени Военно-революционного комитета объявляю, что Временное правительство больше не существует (орация). Отдельные министры подвергнуты аресту. Другие будут арестованы в ближайшие часы (бурные аплодисменты). Нам говорили, что восстание в настоящую минуту вызовет погром и потопит революцию в потоках крови. Пока все прошло бескровно. Мы не знаем ни одной жертвы. Я не знаю в истории примеров революционного движения, где замешаны были бы такие огромные массы и которое прошло бы так бескровно. Обыватель мирно спал и не знал, что в это время одна власть сменялась другой...

В этот момент в залу вошел Ленин.

Троцкий: «В нашей среде находится Владимир Ильич Ленин, который в силу целого ряда условий не мог до сего времени появиться среди нас... Да здравствует возвратившийся к нам товарищ Ленин!» (Бурная орация).

Я убежден, что о «бескровности» переворота Троцкий говорил совершенно искренне: всю последнюю неделю он «заседал», «вырабатывал», «сносился по телефону», «подписывал», «руководил» —

за письменным столом и «наблюдал восстание преимущественно из окна редакции». Кровь на площади Зимнего дворца видел я, то есть обыватель, давно потерявший в те месяцы представление о том, что значит «мирный сон».

Мои встречи с Троцким продолжались на протяжении нескольких месяцев. В личной жизни Троцкий, несмотря на свою огромную популярность, оставался необычайно прост, приветлив и человечен. О кличках — «наш любимый вождь», «наш великий учитель», «любимый отец народов» и пр., которыми украшались коммунистические главы, Троцкий сказал мне по-французски:

— Stupide exagération!

И по-русски:

— Пошлая, дурацкая театрализация.

В предисловии к книге «Моя жизнь», написанной уже в изгнании, в Турции, на острове Принкипо под Константинополем, Троцкий говорит (14 сентября 1929 года): «Я не могу отрицать, что моя жизнь не принадлежала к числу наиболее ординарных. Но причины этого следует искать скорее в обстоятельствах эпохи, чем во мне самом... Над субъективным встает объективное, и в конечном счете это оно становится решающим».

Летом 1924 года мой портрет Троцкого вместе с портретом В. Полонского, который я тоже успел закончить к этому времени, был отправлен в Италию, на венецианскую международную художественную выставку, устраиваемую там каждые два года («Biennale»). Я уехал туда же одновременно с ними. Портрет Троцкого был повешен на почетном месте в центральной зале советского павильона и воспроизведен на отдельной странице в книге Уго Неббиа «La XIV Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia», 1924. В том же году этот портрет был воспроизведен и в Москве, в книге «Советская культура» (Изд. известий ЦИК СССР и ВЦИК). Троцкий был тогда еще Троцким, а не «Иудой» и не «бешеным псом преступного капитализма» — прозвища, данные ему вскоре Сталиным (Джугашвили) и ставшие в СССР обязательными. <...>

Какая судьба ожидала мой портрет Троцкого?

В 1954 году прибежал в Париж один видный «художественный деятель» Советского Союза, председатель Союза художников РСФСР и член-корреспондент Академии художеств СССР. Он

позвони ко мне по телефону и сказал, что хотел бы повидаться со мной. Мы встретились, и в разговоре я между прочим спросил, где находится этот портрет. Но если в 1926 году в Советской энциклопедии писалось, что «в героической композиции» моего портрета Троцкого «дана попытка передать романтику революции», то мой советский гость, посмотрев на меня с удивлением, сказал:

— Неужели вы не понимаете, что мы не можем выставлять публично портрет Троцкого.

Я посоветовал москвичу побывать во французских музеях, где можно одновременно видеть портреты революционеров и их усмирителей, членов конвента и императоров, потому что эти картины являются не только политическими документами, но прежде всего произведениями искусства. Советский гость ответил с презрением:

— Гнилой Запад. Мы бы давно всех Наполеонов, даже давидовских, выбросили в помойку.

Как я уже говорил, Троцкий знал и любил поэзию. Я приведу здесь выдержки из его предисловия к книге молодого (тогда) поэта А. Безыменского⁶ «Как пахнет жизнь» (1924): «Безыменский — поэт, и притом свой, октябрьский, до последнего фибра. Ему не нужно принимать революцию, ибо она сама приняла его в день его духовного рождения, нарекла его и приказала быть своим поэтом. Вместе со своим новым поколением Безыменский переживал революцию, проделывал ее, претерпевал ее в ее героических моментах, в ее лишениях, в ее жестокостях, в ее повседневности, в ее замыслах, достижениях, в ее величии и в трогательных, а подчас смешных и уродливых пустяковинах. Он берет революцию целиком, ибо это — та духовная планета, на которой он родился и собирается жить. Из всех наших поэтов, писавших о революции, по поводу революции, Безыменский наиболее органически к ней подходит, ибо он от ее плоти, сын революции, Октябrevич. Ему, Безыменскому, нет надобности планеты перекидывать, как кольца. Ему не нужны космические размеры, чтобы чувствовать революцию... Безыменский умеет и в отделении милиции революцию найти».

Это, конечно, весьма элементарно и вполне в «партийной линии». Так мог бы написать любой коммунистический «литературовед». Но, искренне говоря, что другое можно было бы написать о Безыменском, второклассном подражателе Маяковского, уснащенного Демьяном Бедным? Что можно было бы написать о Безыменском, избравшем в те годы линию наименьшего сопротивления, по всем извилинам

которой он, правоверный «Октябrevич», продолжает идти до сих пор в рядах послушной советской поэзии? Разве в недавние годы Безыменский не дошел по этому пути к позорным публичным (устным и письменным) обвинениям Б. Пастернака в «измене советской литературе, советской стране, всем советским народам» и к публичным (устным и письменным) обращениям к советскому правительству с просьбой о «лишении Пастернака советского гражданства»?

Но предисловие Троцкого к книге Безыменского одновременно носит нескрываемый оттенок иронии: поощрительное обращение взрослого к ребенку. Рядом с этим предисловием статья Троцкого о смерти Сергея Есенина (полностью приведенная мною в главе об этом поэте) должна, благодаря своей глубокой человечности, остаться в русской литературе тех лет и занять достойное место в биографии Троцкого. Вряд ли кто-либо другой из «вождей» пролетарской коммунистической революции решился бы написать подобные слова, посвященные памяти поэта, покончившего с собой из-за неприятия революции, поэта, «несродного» революции.

Написанный в 1926 году, этот некролог уже предсказывал роман Дудинцева «Не хлебом единым»⁷. Но говоря, что «в утробе нынешней эпохи скрывается еще много беспощадных и спасительных боев человека с человеком», Троцкий, наверное, не предвидел свою собственную трагическую смерть и не считал ее «спасительной» для человечества. Кроме того, этой фразой Троцкий отказывался от утешительных слов, произнесенных им в ночь на 26 октября 1917 года, о «бескровности» революции. Разговор о «беспощадных боях» во имя «гармонического, счастливого, с песней живущего общества» является неискоренимым заблуждением многих революционеров. Бывший коммунист Борис Суварин⁸ писал: «Никто еще не смог серьезно мотивировать принесение в жертву живущих поколений ради гипотетического счастья будущих поколений». Суварин называет подобный идеализм «высшей абсурдностью». Он, конечно, прав. Но Троцкий был неизлечим и писал еще за несколько месяцев до собственной смерти: «Жизнь прекрасна. Пусть будущие поколения очистят ее от всякого зла, от подавления, от жестокости и будут полностью наслаждаться ею» («Diary in Exile»)⁹.

Троцкий поверил в необходимость «высшей абсурдности» смертоносных боев за мир и счастье будущих поколений и пал ее жертвой.

